**ЗОВ И ЗНАК**

**1**

– Вот и пришёл к нам Владимир Алейников! Живая легенда! – так встретил меня в редакции журнала «Знамя», года двадцать четыре назад, Сергей Чупринин, главный редактор этого всем известного, толстого, ежемесячного журнала, поднимаясь в просторном своём кабинете из-за большого, массивного, поблёскивающего тёмным, отражающим заоконный свет, благородно-сдержанным лаком, загруженного сверху, но не очень, так, чтобы места достаточно оставалось, рукописями и всякими, наверняка важными и среди них – деловыми, бумагами, поражающими плотностью и белизной, отчасти гостеприимного, но очень с виду солидного, начальственного стола, решительным движением отодвигая назад удобное мягкое кресло, откидывая, как-то наискось по отношению к туловищу, свою крупную, сгустком дум взлетавшую голову, закидывая, опять же – назад, наискось и за плечи, густые, довольно длинные и уже седоватые волосы, улыбаясь по-детски, радостно, поправляя очки – и устремляясь ко мне навстречу.

Пришлось отшучиваться. Хотя, если чуть призадуматься, правду ведь человек сказал. От души говорил. Ну, и на том спасибо. Такая правда – глаза не колет. Она их – просветляет. Увлажняет скупой и достаточно горькой слезой. Проясняет – воспоминаниями о молодости, как известно, у нас – крылатой. О молодости, о свежести, о недюжинной силе. И округляет их, конечно, – если, пускай и с запозданием, но узнаёт наконец вот такой, безусловно, хороший, да и почти ровесник мой, – ну, на годок помладше, такой вот приветливый, явно настроенный на доверительный, искренний тон, да и чуть ли, вот именно, чуть ли не на дружеский, нашенский лад, солидный, приятный во всех отношениях, интересный в общении, образованный, умный, отзывчивый, очень правильный человек, – что же вот этой, пришедшей к нему, уцелевшей, – нет, выжившей чудом, и всё ещё, вот уж загадка-то, как и прежде, живой, – да, представьте, живой легенде! – пришлось испытать в минувшем.

Нам не понадобилось даже долго присматриваться друг к другу. Взаимопонимание – было. Хотя и, по старинке, с непривычки, всё ещё –   
удивляло.

– Если бы я был тогда, в шестьдесят пятом году, в Москве, – я был бы вместе с вами! – твёрдо сказал мне Чупринин.

Имелся в виду наш СМОГ.

– Верю. Конечно, верю! – так я ответил ему.

А почему бы и нет? Запросто мог бы он быть с нами тогда.

Всё могло быть. Вообще всё могло быть. И сейчас – всё может быть. На то она и жизнь, со всеми её поворотами и парадоксами, чтобы чему-то, ну хоть чему-то, но обязательно – быть. Потому-то и человеку – желательно быть. Нет, необходимо – быть. Сбыться. Состояться. Сказать своё слово. Сделать своё дело. Здесь, в этой жизни. А по возможности – и в той, что будет, непременно будет – потом.

Так мы сидели вдвоём – человек, основавший СМОГ, и человек который мог бы в нём быть, – и говорили. О неофициальном, не так уж давно – подпольном, запретном, гонимом – искусстве.

Чупринин сказал:

– Это я предложил термин – «другое искусство».

– Хороший термин. Пожалуй, на сегодня – лучший. Куда уж лучше других! – ответил я. – Хоть по-человечески, по-русски сказано. А то –   
какой-то там «андеграунд»! Одно словцо чего стоит. Не приживётся оно в нашей речи. А «другое искусство» – это нормально. Потом, глядишь, и ещё точнее определение найдётся.

Чупринин был доволен.

В его кабинете, помимо его собственного стола, был и другой, длинный, – наверное, для заседаний редакции. По обе стороны от него рядами стояли слегка отодвинутые стулья. Этот стол, длинный, упирался в более короткий, чупрининский стол, как раз посередине. И оба стола, так уж получалось, образовывали подобие большой буквы Т. Начальной буквы названия одного моего сочинения.

Мы говорили – и мне было интересно слушать возможного моего товарища, потенциального соратника – там, в далёком былом.

Здесь, в нынешнем нашем, окружающем нас обоих со всех сторон, вплотную глядящем на нас и опять-таки неспокойном, напряжённом, таком непростом настоящем, был он главой серьёзного журнала, был вообще весь, целыми днями, в делах, то есть занят был выше всякой приемлемой, допустимой для выносливого, конечно и все-таки устающего от подобных нагрузок, добросовестного человека, но, как нарочно, всё разбухающей, гипертрофированной какой-то нормы, занят, занят и занят, выше головы занят, но, уставая, конечно же, очень, ещё и выдерживал это, с трудом, с напряжением – но выдерживал, – ещё и умудряясь при этом выкраивать время и работать дома – писать свои статьи и книги.

Речь, шла о том, что хорошо бы, да и давно уж пора, мне, ветерану богемы, известному в своей среде и далеко за её пределами поэту, живой легенде былого и настоящего, написать для «Знамени» воспоминания о СМОГе.

Мы говорили – и курили, курили – и говорили. Я всё-таки приглядывался к Чупринину, он – ко мне.

Заодно привыкал я к новой для себя обстановке, не очень-то ещё знакомой. К атмосфере существенно изменившихся, с советских-то времён, можно сказать – разительно упростившихся, новых отношений редакции с автором. С некоторым усилием над собой вроде бы и привыкал, но внутри себя понимал, что вряд ли, наверное, да и не наверное, а скорее всего, привыкну я к этому окончательно, так, чтобы чувствовать себя здесь действительно свободно. Слишком велика ещё была память о тех, давешних временах, с их отношением к поэтам.   
И незыблемой оставалась внутренняя моя, столь развитая, оправданная, закалённая, выстраданная этика – тех ещё, памятных мне, времён: никуда, ни к кому на поклон не ходить, никого никогда ни о чем не просить, выдерживать марку, помнить о собственных достоинстве и чести, никому не продаваться, не служить властям, быть по возможности независимым от всего, что мешает жить и работать, всегда, везде и во всём оставаться самим собою, в любых условиях делать своё, к которому призван, дело. Насколько нынче изменились обстоятельства, насколько редакции и вся вообще московская литературная жизнь стали другими – это надо было ещё осмыслить.

У себя в Коктебеле я находился годами вдали, в стороне от всего этого. А в Москве бывал нечасто – и подолгу в ней не засиживался, как и в этот раз, – ведь я уже всё чаще, находясь в столице и по укоренившейся привычке почти никуда не выбираясь из дому, подумывал о том, что пора мне, пора возвращаться обратно: в Киммерии – весна.

Тут я вспомнил, что принёс в подарок Чупринину, – поскольку он, помимо того что главный редактор журнала, ещё и очень известный литературный критик, а ещё и просто очень любящий поэзию человек, –   
мои книги.

В какой-то газете, не помню уж, какой именно, видел я фотографию: идут рядышком Сергей Чупринин и Вольфганг Казак.

С Казаком, крупнейшим славистом, высоко ценившим постоянно   
изумлявшую его поистине баховским, как совершенно верно догадался он, звучанием и многообразием, поэзию мою, я изредка переписывался, а познакомился лично несколько позже, в те дни, когда вышел его «Лексикон», и в Доме литераторов состоялся вечер, посвящённый этому событию, и профессор Казак был так счастлив, что завершил свой труд, и мы с ним познакомились наконец вживую, а не заочно, как было раньше, и он надписал мне свой «Лексикон», вручил мне его – и, с нескрываемым интересом разглядывая меня, громко и, как и вообще всё у него получалось, непосредственно, несколько растягивая фразу, продлевая ее звучание, сказал:

– Так вот вы какой!

На что я, пожимая его руку, ответил:

– Да такой вот, какой есть.

И подарил ему некоторые свои книги, которых ещё не было у него, поскольку, из-за коктебельского отшельничества, не представлялся случай их ему передать.

И Казак рассиялся в улыбке.

Я напомнил Чупринину об этой фотографии. Я сказал ему, что, глядя там, в Коктебеле, еще несколько лет назад, на эту фотографию, непроизвольно как-то подумал о том, что он, снятый в движении, подавшийся вперёд, какой-то открытый весь, улыбающийся, с разлетающимися волосами, живой, симпатичен мне и по-человечески интересен.

Чупринин оживился. Поведал мне об истории этой фотографии. Всё было тогда – впервые. И Казак, ранее запрещённый у нас, тоже приехал в Москву – впервые. И такой вот материал в газете – был впервые. Всё было внове. Всё обещало впереди что-то хорошее, такое, чего давно уже ждали. Неужели придёт оно?

Покуда он рассказывал, я достал из сумки мои книги. Надписал их по очереди – и вручил Сергею Ивановичу. Все.

– Ого! – сказал Чупринин.

И потянулся навстречу книгам. Начал их рассматривать, листать. Сразу видно – по повадкам – любит книгу человек.

– Потом почитаете, дома! – сказал я ему. – Книги сложные. Такое чтение, сами понимаете, – дело непростое.

Чупринин согласился. Оторвался от книг. Положил их на стол, рядом с собой. И, всё-таки поглядывая на них с явным, хищным, профессиональным интересом, опять сказал мне:

– Владимир Дмитриевич! Напишите для нас воспоминания. Мы – напечатаем.

Не скрою – приятно мне было такое слышать. Первый случай в жизни со мною такой, когда мне сами, официальные журнальные издатели, печататься предлагают. Да ещё и в известном журнале. Да ещё и сам главный его редактор.

Я сказал:

– Напишу, конечно! Я уже их пишу, сейчас.

Тут – как будто подул ветерок, приятный, весенний, – и в раскрытую настежь дверь чупрининского кабинета свободной и лёгкой походкой, посверкивая на обоих нас ещё издали своими карими, озорными, девчоночьими глазами, одетая в модный, конечно, с виду мятый, но так полагается, ладненький, серенький пиджачок и такую же, с виду невзрачную, но, конечно же, модную юбку, вскидывая на ходу свои худенькие, лёгкие руки с узкими ладонями и тонкими пальцами, глядя на которые, в былые годы, в период нашей с ней дружбы, я всегда вспоминал некоторые песенки Вертинского, вошла заместительница Чупринина, одна из главных фигур в современной российской литературной критике и публицистике, в отдалённом прошлом – большая любительница и ценительница прежних моих стихов, да и сейчас, вроде бы, не забывающая об этом прошлом, современница моя славная и даже бывшая соратница моя, с которой был я знаком уже около тридцати лет, прелестная женщина, милая Наташа Иванова, тоже радостно и широко улыбаясь и немедленно, вся подавшись вперёд, похожая на птицу в полёте, устремляясь ко мне.

Вот и ещё одна встреча! И всё – прямо здесь, не сходя с места. Чудеса! Всем нам троим тем более было о чём словечком перемолвиться.

Наташа тоже призвала меня:

– Приноси свою прозу нам!

Ну вот, и она – всё о том же.

– Напишу! – говорю ей. – Работаю.

Хорошо – общаться с людьми. Если люди – хорошие.

Но пора было мне возвращаться домой.

Попрощался я с ними, тепло попрощался, – и с Чуприниным, и с Наташей, – и ушёл восвояси.

На Никольской, весёлой, торгующей всем и всегда, всякой всячиной, от горячих пирожков до нательных серебряных крестиков, деловой, бестолковой, то беспечной, то ушлой улице, в тесноте, в толчее людской, взглянул я исподволь, искоса на Кремль, на кирпичные башни, на Красную площадь, вернее – предгумовский малый кусочек её, – да и нырнул вместе с толпою в метро, чтобы вынырнуть из него там, у себя уже, в Новогирееве. И – от метро, уже нашего, местного, с безобразным базаром вокруг, с апофеозом всеобщей какой-то, всеядной, глобальной торговли, с нехорошим, противным душком распада и тлена, с тем развалом, в котором легко задохнуться и даже пропасть, – поскорее домой: к работе своей! К работе.

Вот нужны всем – воспоминания. Подавай их – и всё тут. Нужны.

Напишу. Всему своё время. И уже их пишу – давно, и пишу их прямо сейчас – для «Знамени» ли, для пламени ли духа, могучего, вечного, для времени ли спасительного, золотого, целебного света. Но – пишу. И они вкраплениями, пластами, живыми, звучащими, всей сокровенной музыкой отшумевшей былой эпохи входят и в эту книгу. И в другие книги мои – войдут. Непременно войдут. Обязательно, я это знаю, будет именно так, войдут. Это – кровное. Становление духа. Речи движение чуткое – сквозь любые преграды и сложности. Тот, когда-то в юности вспыхнувший и доселе меня хранящий в мире нынешнем, грозном и сложном, неизменно ведущий в грядущее, прочно связанный с творчеством свет.

**2**

Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть – осени всех начинаний, и надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтичной, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени – той, в которой уже содержалось всё, что позже, неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, –

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, –

какое там! – наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали её и грани, –

и она подходит вплотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней – сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, –

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, – ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смирившемуся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёг я свято в душе, что пронёс через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем в мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, – пенье, счастье, страданье, горенье, – навсегда, – обретенье пути.

Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, –

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалека, неофитом, гостем восторженным, самые невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думах вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую – в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город – кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и всё это – для тебя, и ты для этого – здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и вьются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдалённой от форсистого, яркого центра, не подчёркнуто вовсе окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустяковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьёзного ЗИЛ.

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнате небольшой, обжитой, с минимальным соседей числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет – потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудышних правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.

Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и полагалось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда – какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся недаром, божественно ясный свет, – какое счастье, какое блаженство, и всё под рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, щурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукопи-  
сей, включал по привычке приёмник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия, или же, пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже врастания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дожидавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безгранного слова: быть! –   
созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.

Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!

Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.

Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспалённою головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, безнадёжностью положения своего, подвешенностью состояния – между славой тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, вместительный саквояж.

Зачем? Не знаю – зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне).

Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, – и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал.

Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, поразившей меня красотою своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодушную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, зелёную, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной – белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо стояла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнущимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались ещё и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо – где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырываться из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то –   
да мало ли что ещё где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком заоконным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятьям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось нежданно по жилам.

Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приёмник, средь множества голосов, звучавших в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело, чернело.

На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упружистые, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то – и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка заоконного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приёмника.

Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, – и новый день начинался, и всё у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнова, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не спешила меня покидать, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.

Лирика, так вы решите.

Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.

Голос и свет. Из прошлого.

Память. Отзвуки праздников.

Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору – именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, – всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть –   
навсегда.

В самом конце нагрянувших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

– В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся «литературная» Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.

Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все – участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальщины, чуждой всем нам, – просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, для меня – всегда интересными.

Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли – сразу же, безоговорочно, приняли – навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда всё и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмущая как на дрожжах расплодившихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда – и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занятно, и показательно, в чём пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, тяжеловатой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, всё равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», – я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего – шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретённому, вместо кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них – числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.

Но это ещё не всё.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередою прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том о сём, о немногом и обо всём, изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нём все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже – и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди – и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто – в зрелых своих летах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились – как странно вспоминать о таком –   
познакомиться.

Искали – сами, без всякого принуждения, – дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошёл.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, неугодных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян – заполучить меня, талантливого, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице – и начал жить, сразу же, безоглядно, той жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась – восприятие текстов моих читательскими глазами – было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, – для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все как один говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это – искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанью, и сердцу, текстом, –   
это ещё серьёзнее, это всегда испытание для поэта – как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменял самиздат, – не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнении, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барахты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете – уйдёт со мной и моё искусство – личное, кровное, вне канонов, – искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеомагнитофон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится – да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня – что за птица такая, залетевшая издалека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, – или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь – и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые наслоения, сквозь пространство, преодолённое так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю стихи, – дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, – вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, – ночь со снегом и век со СМОГом, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым – начало встреч, имя времени, путь и речь…

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в головах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак не найдутся деловые ребятки, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выработалось, оформилось и спокойненько прижилось посреди междувременья нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне – мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много работает, всё в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив ещё, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это моё право.

И я ещё жив, представьте, это действительно так.

И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значением, литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть – шествия, может – и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть – и процессии, но какой? – погребальной? праздничной? –   
нет ответа – и тройка мчится, неизвестно – куда, и Русь тоже движется – но куда? – в завтра, что ли? – неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? – или, может быть, всё равно, всё едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, ещё раз, ещё много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или про запас, то с похмелья, то с пьяных глаз, – и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лесть ли, месть ли, напасть и власть, за которой, напившись всласть чьей-то крови, встаёт кошмар, мор, угар, мировой пожар, – смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, попрощаемся – и опять надо мне о былом писать, – вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никуда я, тружусь всегда – и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, –   
о внимании.

Ведь было – искусство чтения.

Наиболее развитое – у меня и у Лёни Губанова.

Губанов ушёл – и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит – и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем – просто голос, пусть и чарующий. Могли бы – ещё и видеть, могли бы, с помощью записи, – присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание – так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не равнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание – было, ещё и какое!

Представьте, тою же осенью шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого фарта и не думал я извлекать.

Общение! – вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все – хорошие! Все решительно – интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой – наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубянские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, полушёпотом говорят!

Наплевать нам на всё это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. Почаще на людях быть. Жить – интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены – о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, – грядут, назревают, мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены – и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Всё к лучшему, правда? Не так ли?

Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.

Оптимистичность – она, знаете ли, хороша.

Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.

Общение! Жаждем общения!..

Вот каковы были общие настроения.

В том числе и мои собственные.

Во всяком случае – осенью шестьдесят четвёртого года.

Вскоре – всё изменилось.

Вскоре – пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.

Но это было – потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей – пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.

Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.

Какие дали, какие пространства мне открывались!

Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.

Планеты. Символы. Знаки.

Созвездья. Галактики целые.

Звёздный путь с земными дорогами.

Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девятитомник, – и Хлебников, пятитомник, том неизданного, том избранного, томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, – любимейший шеститомник, в котором весь он не умещался, таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провидчестве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, сотворённым, личным, вечным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, света хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырёхтомный, – и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.

Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.

Шевченко, его «Кобзарь», – и Тычина, ранняя лирика.

Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними – Русь.

Батюшков и Державин. Музыка и судьба.

Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.

Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, – и, сквозь ритмы взахлёб и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скупо, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девятитомник, – и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он – читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбою звучащей – «Война и мир», и рассказы его, и особенно – «Казаки», «Хаджи-Мурат», – и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», – и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, – а теперь уж и перепечатанная на машинке, догутенберговская, как сказано было, её великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередою, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом – «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многажды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) – из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантасмагоричная, «Нобелевская премия», остальные – в изданных ранее книгах; проза его – «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские – «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходившие. Далее – самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись – нарасхват ведь – «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) – это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», – и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин – были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на всё, что наиздавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взахлёб читаемая, нашей молодости далёкой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладезь премудрости. Право на первородство. Всюду – правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы всё мгновенно понять. Потом – начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты – события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадётся. Что найдётся – чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом – удивит.

Символисты. С ними сложнее – но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.

Анненский – начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой – нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» – не помню, кем сочинённая, – было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников – обэриуты – мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги – рядом всё время были.

Книги – сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно всесильный и властный, то всё моментально бросал – и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от столицы, всё глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, с ускользающими от взгляда, словно в прятки со мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчётливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучащаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, почти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну прямо как взапуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглохший лес.

Там просматривались деревни – деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, человечьих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, постороннего, полностью отделённая от жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землёй деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро – точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же не забывающем никогда приберечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, – и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, – я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, преспокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, – и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, чаёвничал, музыку слушал, читал, а то – в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, – что ж, опять звали в гости, – да-да, приеду, – собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, – встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! – вечер длился, уже – в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, – все спохватывались: успеть бы на метро! –   
собирались, прощались, расставались – буквально до завтра, – я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, – и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, – выбирался на улицу, мигом добирался домой, – ну вот, наконец-то я здесь, теперь – отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною – и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал – и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет – спасительный, звук – начальный, тот, с чего всё и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было – моё. Я знал.

С той поры и пишу их. Поныне.

Вновь тревожит меня родное,

слух и взгляд, словно встарь, открыв.

Свет со мною и звук со мною.

Навсегда. Покуда я жив.

Свет – спасает, звук – пробуждает.

Свет – ведёт сквозь темь, звук – речь рождает.

Сон ли? Явь ли? Так и живу.

Всё тружусь. А куда деваться?

Нам никак нельзя расставаться.

Свет – увижу. Звук – призову.

Свет – придёт. Звук – раздастся снова.

Шевельнётся первое слово.

Прорастут другие за ним.

В нашей речи – вселенской ткани –

мы извечно стоим на грани

тьмы осенней и вешней рани,

где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.

Пришло наконец – моё.

Новое. Настоящее.

Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, – и несколько позже, летом, когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, во что я столь искренне верил, всё к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё – непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, – и осенью, той, московской, о которой вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, продолжалось, да и зимой, и весною, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, нежданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, – и особенно сильно выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла средь огнём опалённых лет, – и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, – и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу – истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это – мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий – годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше – потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, – и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяжённость пространства.

И стал – навсегда, полагаю, – отныне самим собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что – так.

Но жил я – в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь.

Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно слаженным хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась леностно-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённо-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические – Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, устремлялся к югу, спиралями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что – нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою.

Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше куда-то, – сон ли? явь ли? – не всё ли равно вам? – с явью сон, сновидение с явью, – всё возможно и всё допустимо, – сон, пожалуй, а всё же – явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь Южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печалясь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина,   
и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмосковье, и потом, усталый и полный впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам, и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего – сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брюсовской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощеньем, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мои-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. Итак, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, – и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком сентябре, в прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.

**3**

Вот хорошее слово – предание. Но предание ли – всё это? Слово –   
сказанное. Переходящее. Из уст в уста. От человека к человеку. От поколения к поколению.

Правдивый рассказ о былом. Так. Но – какой же ещё? Правдивый – значит, живой. Живой. Правдой жизни – правдивый. Живучий. Тот, что останется. Надолго. Тот, выживающий. Вызывающий – дух выживающий. Призывающий – навсегда.

Предание. В нём – гадание, и рыдание, и страдание. Сострадание? Да, конечно же. Дух и свет. Живая вода. Над живой водой – ожидание: ах, взойдёт ли твоя звезда?

А звезда, слава Богу, всё всходит и всходит. Жаль, что время уходит. Жаль, что многое не доходит до людей, – но потом дойдёт. Слишком часто уж так выходит. Но когда-нибудь да приходит – сразу всё. И любой находит всё, что в руки к нему идёт.

Ну а тот, под звездой, восходит к новым звёздам. И снова – ждёт. Снова по мосту переходит – но куда? Свет его ведёт. Свет ведёт – и в Дух переходит. Звук приходит. И – Речь грядёт.

Предание. Оправдание. Чего? Судьбы? Речи? Предание. Спецзадание: выполнить. Передать. Предание: здание. Выстроить. Возвести. Предание. Созидание. Вспомнить. Выстоять. И создать.

Предание. Предвестие апокрифа. Предвидение канона. Для канона – крупного плана, общего фона. Верного тона.

В преддверии речи.

…Зажигает, вздохнув, человек подсознания свечи.

Это уж точно.

Поскольку день ясный, солнечный, и солнце стоит прямо над Святой горой и светит мне в окно – и, естественно, света сейчас более чем достаточно, – я зажигаю – всё-таки зажигаю, мысленно зажигаю, – знаю, что делаю, – свечи, свои свечи, наши свечи – пусть горят они ярко, так ярко, чтобы озарилось прошлое моё, озарилось – и появилось, всё, полностью, ничего вдалеке не утаивая, ничего от меня не скрывая, потому что не скроешь того, что в душе столь давно всё живёт и живёт, не запрячешь куда-нибудь, впрок, с глаз подальше и чтоб не мешало пока, – нет, оно обнаружится и возвратится ко мне, зазвучит, расцветёт, лепестки настроений раскроет, стебельки состояний протянет к источнику света, чтобы вновь подниматься на этой земле по возможности в рост, чтобы корни поглубже ушли в заповедную почву, чтобы зёрна созрели, упали в родимую почву – и снова с весною взошли, чтобы слово пришло ненароком и сердце согрело, задышало свободно, расправило крылья свои, поднялось в небеса птицей Сва, птицей Сирином стало, Гамаюном запело и Фениксом в пламя вошло, возрождаясь в огне, воскресая, – огниво, кресало, жар костра вдохновенного, лампа, лучина, свеча – всё горит, вcё пылает, всё ночь освещает земную, чтобы речь пробуждалась и в даль за собою вела, чтобы в этой дали зарождалось, как прежде, сиянье, чтобы здесь, в настоящем, оно поддержало меня, чтоб в грядущем оно продолжалось, – отсюда и свечи, свечи, внутренним зреньем давно различимые, в них – дух эпохи, что слишком легко не уходит, – и,   
похоже, что так и останется в нас, никуда не уйдёт, потому что куда уходить ей? – и к кому ей податься? и кто её примет сейчас? – нет,   
не хочет искать она где-то иного родства, пониманья она не желает искать у других, – здесь её понимают и здесь она с нами сроднилась, – оставайся же, милая! – будь, вся, как есть, у меня, и не просто в гостях – будь   
как дома и чувствуй свободно в этом доме себя, будь своей, будь самою собой, как была и всегда ты, – мы чаю с тобою заварим, посидим, побеседуем, – время вдвоём коротать не впервой нам, ты знаешь, – ты музыку вспомнишь былую, свет былой, дух былой, – и сольёшь их в звучанье одно с тем, что помню и я, с тем, что нынче пишу я запоем, с тем, что слишком люблю, чтоб не выразить в слове его.

Наше с Губановым: СМОГ.

Пусть это и аббревиатура – но что-то опять-таки щёлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи сработал, аббревиатура сменилась, как по волшебству, чуть ли не универсальным понятием, – и вот он налицо, знак времени, призыв к объединению – для моего поколения.

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово *сумел*, мобилизовывало, притягивало к себе, точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова – в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже шестое десятилетие, а если быть точнее – добрых пятьдесят четыре, с хвостиком, года, – и впереди ещё и следующий год, и грядущее столетие, – и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот – с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, – не откроется. И как это осенило нас с Лёней – тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик – вот он. Смотрите. Он давно – на виду. Было два ключа от него. Один ключ – у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ – у меня.

Что в ларчике – ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою – для вас. Поживём – увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот – открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю – что там, внутри. А там – нечто.

Странная эпопея. Поистине – странная. Не желающая – исчезать. Не желающая – расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая –   
кровь из носу, во что бы то ни стало, но только – так, и не иначе. Вызывающая – огонь, да не один, все огни – на себя. То есть – ушедшая далеко вперёд. Как на войне, в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая – речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая – нет, уже давно затеявшая – вечный спор, – нет, поединок вечный – с тем, что всюду на земле всего страшнее – с равнодушием беспамятным людским. Начатая – тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся – ныне, в междувременье. Готовая протянуться – в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея – типично русская. Со стержневым, врождённым, – всё и насквозь пронзит – природным, как речь, мышлением. С несколькими –   
так уж вышло – слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни – довольно отчётливо, другие – уже посмутнее, а третьи – те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих – меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче – в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено – до одного – из мифа, из легенды, из прошлого ли, – всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает, – до одного лишь автора, конечно, – до этакого нового Гомера. Уже не эллинского – русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильней – Омир, фракиец был, а значит – тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» – всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего – скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её, основа её, почва её, – всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля – множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, – всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, – эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой – и не-  
умолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому – по отечественному – так доходчивей – образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина, закрученным, острым – лезвием, жалом! – сюжетом, со своими загадками и отгадками – на авось, со своими метаморфозами – и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, – непреложный, немеркнущий миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего – у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, –

(напомню, что действо происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), –

продолжает, с годами – всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышних, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков.

И в наши, нынешние дни, на склоне века минувшего и в начале нового века, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже – изучают, – что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло! – на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных заведениях, – и подростки, и молодёжь, – причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, – сами преподаватели – ровным счётом никакого понятия не имеют – о сущности явления.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовей, порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт – потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам косточки в устных россказнях и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово СМОГ просвечивает их, как рентгеном, – и сразу видно, кто есть кто. Но они этого – не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им – это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя – некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди – другое дело. Хороших, толковых – мы тогда привечали. Особенно своих – мы их за версту чуяли. Мы бы их – так я думаю, так полагаю, – приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами, – их можно, конечно же, можно понять. Значит – из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит – нашей закваски. Ну, не успели они тогда – быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так – и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь – сумеют. Пусть будут все они – жалеющие ли, желающие ли, – вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно – взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов – давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы – к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас – не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он – дух такой, – их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ – это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то – мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отомрёте. Исчезнете, как вид. На то она и зона, что –   
не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически – не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться – и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство – за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть – за профнепригодность. Некоторых – из брезгливости. И откровенных гадёнышей – за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге – единицы. И это – правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда – считанные. Избранные. Это и есть – объединение наше. Содружество. И оно – уже сгустилось. Особенно – с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём – ядро. Из него тоже ещё что-то – или кто-то – со временем – вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так – и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого – и подходить к этому. Восходить.

А то – СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то – немногие – Божьи дудки. А вы – чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата – наглухо для них закрыты.

Правдивое слово – не терпит полуправды, а тем более – вранья.

Слово – тело. Оболочка незримая – для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём – здоровый дух. В нём – нескончаемый свет. Слово –   
смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи новейшей литературы – были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, – меланхолически сетуют на то, что история СМОГа так никем и не написана.

Как это – не написана? Я написал об этом. А кому же ещё – писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как – писать, что – писать, почему – писать.

СМОГ – он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

СМОГ – он такой, он – сумел, он – не то что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, – девать их некуда, – хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более – в природе речи. Слова.

Речь – она со СМОГом. Слово – оно со СМОГом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-одинёшенек на всей этой земле, один, – понимаете? – долгие годы – один, лишь один, – потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья – бывшие, и царят – лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего – только в сумерках локтей», – моего друга молодости, Лёни Губанова, знаю о СМОГе – всё. Да не просто – знаю. Ведаю.

Вот потому – и пишу о СМОГе.

Как надо – пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, – действует невероятной своей энергией, – подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, – созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире – слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь – ещё немногое – о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?

Смог – это значит *сумел*. Ну а смог, сумел выжить – сумей же сказать. Произнести – слово. На чутье, на дыхании, чудом – но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи – и обрести в ней дом. И продолжать – путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи – ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное – и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ощупь стебли, стволы, зрачки и ладони, –   
и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук, – услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, – импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде – только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, – все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, – всё – вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, – нет, не точками чёткими – вспышками огненными, сутью дней и деяний – и солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое, – воля и доля.

Соловьиная ночь украинская – или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя – кольцами бульваров, сиротливо насторожённых, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закруглённые, узорчатые, каменные тела, – копья кремлёвских башен, – и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Клочья отчаянья. Почва звучания.

Значит – слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою – всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой – как на свет, окно ли, свеча ли, костёр ли.

Отыскать эти вехи незримые, маяки эти – в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и мороке, – да и просто –   
в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить – значит, *быть*.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, восстаёт это слово, древнейшее *«ме»*, – где же глубже понятье? – вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь – твой дом, береги же в ней ясное *«ом»*.

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу – и мою, и друзей моих, – вошло это понятие: СМОГ.

Нет, не понятие – понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

СМОГ – это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь, – и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас – улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит.

Столько лет – нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, – никуда их не деть. Потому что – смогли.

СМОГ – со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии – частицы нашей речи, нервы, крупицы её.

Всё – вошло в кровь, всё – читается в глазах и писаниях наших.

СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

СМОГ – урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше, – и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был – как порог, но едва ступили с крыльца вдосталь нахлынуло всяких морок.

СМОГ – это слишком уж много дорог.

Тем он и дорог. И горек – всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с нeгo – не свернуть.

Сворачивать норовили – шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь – высветлилась суть.

Право, есть что вспомянуть.

Линию свою выдерживать, позицию отстаивать – не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки –   
типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье) – гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится, – дабы не выделялись, дабы индивидуальности   
их в духоте, в темноте, смялись, притёрлись, – для острастки, дабы другим неповадно было, – да бросили, улюлюкая, деревянное это, псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это – стихия, такая же, как и речь, – ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может – мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она – и вышли оттуда на твердую почву друзья, выжили, уцелели, – и снова, каждый по-своему, – в путь.

Что же существенно? Да всё – существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!

Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изреченья, порой – анекдота, – и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.

За напастью напасть – вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов, – обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, – уже подальше от огня.

Мы, немногие, – устояли. Не сдались.

Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.

Потому что у речи – особая сила. И она – спасала.

**4**

…Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.

В них – дыханье свободы. Сквозь непогодь – зов и знак.

Шестидесятые. Время радости и любви.

Молодость. Надо всеми – свет: дивись – и живи.

Вроде бы так. Но всё же – вдосталь бывало бурь.

Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.

В бездну порой глядели. Ждали святых вершин.

Можно ли все метели мерить на свой аршин?

Можно ли все раденья сызнова вспомнить вдруг?

Память – мои владенья. Что ж, обозначу круг.

Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.

Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.

Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.

Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.

Я не случайно с вами, други мои, сейчас.

Вставшие за словами, здесь вы. Так в добрый час!

То-то нынче – достаточно снова мне увидеть нас, молодых, четверых –   
себя самого, глаза свои полузакрывшего, словно внутренним верным зрением увидавшего наперёд всё, что будет с нами потом, обнимающего за плечи друзей своих – Лёню Губанова, глядящего вдаль обиженно и отчаянно, – будь, мол, что будет, – и, с растерянной полуулыбкой на лице Пьеро, или нет, Арлекина, скорее, – Юру Кублановского, а за нами, вместе с нами – и чуть в стороне, со склонённою головой удалой, – Аркашу Пахомова, – на старой, чудом, наверное, сохранившейся фотографии, – чтобы вспыхнуло – или в сознании, небывалым, дивным сиянием, или в небе, ярким созвездием, – незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?

Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то – зажгли огни.

Долей стали – былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шёл – при царе ли Горохе или позже – сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, поседев, удивись и пойми – там плеяда былая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что само за себя говорит, – но извечное пламя свечное наши лица ещё озарит.

…Выхваченное лучом таинственного прожектора – пограничного, может, военного, затаившегося до поры, до того мгновенья, когда будет знак ему подан снова, в коктебельской, приморской глуши – и внезапно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-то, включённого, заработавшего, да так, что видны далеко вокруг все приметы вечернего берега или сонного моря ночного, – или нет, совсем не военного, но – магического, такого, для которого всё доступно, всё возможно, всё достижимо, – из кромешной тьмы смоляной, из ушедшего времени прежнего, из каких-то скрытых в пространстве арсеналов памяти, чтобы оживить былое, осмыслить, по возможности преобразить, дать ему, невозвратному, имя, даже так: призвать, возвратить вот сюда, в начало неясное как-то быстро, совсем уж негаданно, разом, резко, внезапно пришедшего в нашу жизнь столетия нового, приголубить, согреть, обнять, зарыдать, помолчать, понять?

Росчерк солнечного луча?

Или всё же – это свеча?

Со свечой, точно встарь, – при свече, у свечи, – в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман – с лепестком на плече, сгустком крови сухим, лепестком поздней розы – в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листам.

*Окончание в следующем номере.*